

ЮРИЙ БУЙДА

Стален

Похождения уголовного жильца

ЮРИЙ БУЙДА

Стален

роман



МОСКВА
2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б90

Оформление серии *Алексея Марычева*

Автор фото — *Никита Буйда*

Иллюстрация на переплете *Алексея Дурасова*

Буйда, Юрий Васильевич.
Б90 Стален / Юрий Буйда. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 432 с. — (Большая литература. Проза Юрия Буйды).

ISBN 978-5-699-99508-0

Как это всегда бывает у Юрия Буйды, в горячей эмали одного жанра запекаются цветными вкраплениями примеси жанров других. Так и в этот раз: редкий в русской прозе плутовской роман обретает у автора и черты романа воспитания, и мета-романа, и мемуарно-биографической прозы. В центре повествования — Стален Игруев, «угловой жилец и в жизни, и в литературе». Талантливый провинциал, приезжающий в Москву за славой, циничный эротоман, сохраняющий верность единственной женщине, писатель, стремящийся оставаться твердью в потоке жизни, в общем, типичный русский человек, живущий в горящем доме. Его путь — это цепочка встреч и расставаний, впрочем, как у всех. Но у Игруева — не как у всех. И его самобытность, и те женщины, что втягивали его в свой круговорот жизни, и те воронки времени, в которые он попадал, — из разряда особенных. Как и его имя.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99508-0

© Буйда Ю., 2017
© Оформление.
ООО «Издательство «Э», 2017

От автора

Хочу поблагодарить всех друзей в социальных сетях, которые в той или иной степени причастны к созданию этой книги.

Прежде всего — Екатерину Ракитину, Сергея Леферта, Николая Андреева, Андрея Теслю, Алексея Алешковского, Дмитрия Ольшанского, Сергея Ключенкова, Леонида Блехера, Сергея Кудряшова, Светлану Бодрову, Сергея Семенова... их много, и всех не счесть, увы.

Социальные сети напоминают поезд дальнего следования. Мы ехали в одном необъятном купе, болтали о том о сем, хотя я больше помалкивал, мотая на ус, записывая, припрятывая, чтобы потом использовать в книге. Иногда цитировал собеседника целиком, иногда собеседник дарил даже не слово — интонацию, без которой текст не двигался. Вот так все и происходило, пока не пришла пора ставить финальную точку.

Как известно, книга написанная и книга прочитанная — разные книги. Свою я завершил — ваша очередь...

Глава 1,

*в которой говорится о верхней пуговице
на рубашке, метамизоле натрия и снижении
эксплуатационных расходов на женщин*

Мое имя всегда вызывает ухмылки, усмешки и улыбки.

«Стален? Стален! Стален...»

Поэтому всякий раз приходится объяснять, что никакого отношения ни к Сталину, ни к Ленину оно не имеет.

Моя мать не думала ни о том, ни о другом, когда давала мне это имя.

Она была Еленой, Леной, а отец — Станиславом. Поставив имя мужа первым, а свое, как и полагается жене, вторым, она получила СтаЛен — ей понравилось.

Муж сначала обругал ее, потом расхохотался и сказал: «Если Лена и завязывает узел, то развязывать его всегда приходится другим».

Ну а я оказался тем человеком, который всю жизнь развязывает этот узел, объясняя всем и каждому, что означает мое имя на самом деле.

Что еще сказать...

Я уголовной жилец и в жизни, и в литературе.

Я не поклонник Достоевского или Набокова, Маркса или Ницше, Моцарта или Стравинского, Сталина или де Голля, Ван Гога или Эль Греко.

Я вообще — *не поклонник, я — верующий*.

Я спал на лекциях о Шекспире с большим удовольствием, чем на лекциях о диалектическом материализме.

Я считаю правое правым, а левое, как это ни ужасно, — левым.

Я не был и не буду ни диссидентом, ни оппозиционером, ни сторонником власти, ни левым, ни правым, ни либералом, ни консерватором просто потому, что это *не мой язык*.

Я принимаю жизнь такой, какова она есть, и живу по ее правилам, чтобы жизнь и правила не мешали мне заниматься своим делом.

Я — тот, кто создан для Бога, а не для людей.

Но когда я смотрю на себя в зеркало, мне не нравится то, что я вижу.

В самом деле, есть что-то злое в человеке, который одет в рубашку, застегнутую на верхнюю пуговицу, особенно если у этого типа длинная тощая шея, продолговатое лицо и внимательный неподвижный взгляд. Что-то резко-неприязненное, что-то жуткое появляется в его облике, что-то такое, от чего весь цепенеешь и мурашки бегут по спине.

Чувство это возникло у меня в детстве, когда мне было лет семь-восемь.

Помню, я вышел после уроков из школы и остановился в воротах, чтобы пропустить толпу возбуж-

денных мужчин, которые быстро шли по широкому тротуару. В центре этой толпы с невозмутимым видом вышагивал высокий костлявый старик с лысым узким черепом, огромными ушами и гладко выбритым бледным лицом. Он был в рубашке, которая была застегнута под самым кадыком, выдававшимся на тонкой шее.

Когда процессия сворачивала за угол, он вдруг обернулся и посмотрел на меня таким взглядом, что я зажмурился от ужаса.

На следующий день в школе все говорили о старике, который изнасиловал шестилетнюю девочку и был пойман с поличным.

И еще вспоминали, что у него какие-то особенно яркие голубые глаза. «А у честных людей голубых глаз не бывает», — добавляла при этом старуха Бабурина, которая торговала самогоном с куриным пометом и за небольшую плату бралась сглазить любого мужчину и любую женщину по выбору заказчика.

Глаза старика я не запомнил, а вот рубашка, застегнутая на верхнюю пуговицу под кадыком, осталась в памяти навсегда. И теперь каждое утро я вижу в зеркале бритый череп, продолговатое лицо, большие оттопыренные уши, усталый внимательный взгляд и рубашку, застегнутую на верхнюю пуговицу, под кадыком на тонкой длинной шее.

Это уже давно стало привычкой — застегивать верхнюю пуговицу рубашки.

Никогда не думал, что доживу до этого. Но так теплее.

Лоб изборожден неглубокими, но отчетливыми морщинами, под глазами мешки, кожа на лице довольно жирная.

Не уродлив — просто в меру некрасив.

Я левша, но пишу чаще правой.

Костяшка правой руки — там, где проксимальный сустав указательного пальца соединяется с пястной костью, — давно деформирована, иногда распухает и краснеет, причиняя боль. А дистальный сустав украшен узелками Гебердена.

Это результат безостановочной писанины. Доходило до того, что подчас не мог удержать в руке карандаш. Мало что изменилось, когда освоил пишущую машинку «Москва»: по ее клавишам приходилось бить с такой силой, что потом еще долго чувствовалось покалывание в пальцах. С переходом на компьютер неприятные симптомы пропали, хотя сустав иногда побаливает «под погоду».

Двадцать шесть лет назад Фрина поразила меня в самое сердце, сказав, что у меня красивые мужские руки. Это было так неожиданно, что я растерялся. Никогда, ни до, ни после того, я не слышал такого комплимента от женщин.

В семь лет мне пришлось надеть очки.

Для родителей это стало трагедией: отец был уверен, что я стану офицером, а мать обвиняла меня в том, что я «плохо стараюсь», а если б старался по-настоящему, то ей не пришлось бы краснеть перед всеми за мое ухудшающееся зрение.

Сейчас у меня очки со стеклами минус девять ди-

оптрий. Оправу выбираю светлую — темная делает меня похожим на Чикатило. Впрочем, в светлой я тоже не айс — напоминаю фермера с картины Гранта Вуда «Американская готика», неколебимого пуританина с плотно сжатыми губами, свинцовым взглядом и вилами в руках. У меня и уши такие же, как у него.

Когда-то я злоупотреблял анальгином, который спасал меня и от головной боли, и от зубной, и от похмелья. Но пятнадцать лет назад все изменилось. После трехдневного поноса и нестерпимых болей в животе меня отвезли на «Скорой» в больницу, где и был поставлен диагноз — острый панкреатит.

Дня через два я пришел в себя. Врач выдал диетические рекомендации на пяти страницах мелким шрифтом, заметив на прощание, что лучшее средство от панкреатита — не анальгин, а голод, холод и покой.

Но когда бессонница становится невыносимой, когда кажется, что жизнь превращается в нескончаемую пожарную тревогу, я принимаю старый добрый анальгин. Так уж устроен мой организм: лучшее снотворное для него — метамизол натрия.

Спустя несколько лет, в августе 2010 года, я снова попал в больницу.

Москва в те дни и ночи изнывала от сорокаградусной жары и утопала в дыму от горящих торфяников. Люди падали на улицах и умирали во сне.

Я никогда не жаловался на сердце, но внезапно мне стало плохо в супермаркете. В бессознательном состоянии меня доставили в больницу, где и выяснилось, что проблема была не в сердце — в сосудах.

После аортокоронарного исследования кардиолог посоветовал готовиться к ангиопластике сосудов сердца, то есть копить деньги: хороший стент, который не зарастет бляшками через два-три года, стоит не меньше 120—150 тысяч рублей, а сколько этих стентов понадобится, никто пока сказать не мог. Плюс госпитализация, операция и реабилитация.

Таких денег у меня, конечно, не было. Их хватало разве что на аспирин, точнее, на ацетилсалициловую кислоту в таблетках, которые мне было велено рассасывать при возникновении внезапной боли в груди.

Чтобы выиграть время и собрать средства на операцию, я отказался от яичницы с беконом, сократил количество потребляемых сигарет с шестидесяти до сорока в день и стал принимать розувастатин, хотя этот препарат и способствует развитию катаракты. Приходится закапывать в глаза тауфон.

Таким образом дома у меня постепенно образовалась аптечка. Я прячу ее от посторонних, и это тот редкий случай, когда я следую примеру отца. Даже за несколько дней до смерти он выгонял всех из комнаты, чтобы принять лекарства в одиночестве. А глотать таблетки в присутствии женщин — это он вообще считал чем-то вроде мужского грехопадения.

Анальгин, мезим, глицин, статины, витамины, тауфон, квинакс, аспирин, антигриппин, артра и терафлекс для суставов, наконец — деприм, помогающий пережить осень и зиму без солнца. В той же коробке я держу и бутылку тыквенного масла, которое употребляю по совету врача, слегка обеспокоенного изменениями моей

предстательной железы, о чем женщинам, разумеется, знать необязательно.

Впрочем, говоря о женщинах во множественном числе, я, конечно, преувеличиваю. Их было не так много, а из тех, кто имел со мной дело в последние годы, упоминания заслуживают две — Лотта и Жуся.

Лотта была худенькой, стройной, высокой, безгрудой, большеротой, с точеным носиком и вызывающе красивыми губами, с ослепительной улыбкой, низким голосом, рыжеватыми густыми волосами и глазами цвета дождя, как она сама называла этот голубовато-серый цвет. Одевалась дорого и броско, говорила громко и хрипло, ходила стремительно, уверенно держась на высоких каблуках даже на московских обледеневших тротуарах, машину водила лихо, а когда с туманной улыбкой брала на помаженными губами фильтр сигареты, у мужчин онемевал лоб.

Такой же решительной, ловкой и раскованной была она и в постели.

Москва театральная, литературная, журналистская, галерейная, музыкальная, Москва еврейская и нееврейская, старосоветская и новорусская — казалось, Лотта всех знала, со всеми дружила, со всеми переспала и всех отвергла.

Ее отцом был Яков Аронович Грановский, писатель-универсал, германофил, переводчик Мартина Опица и Ангелуса Силезиуса. Но настоящим его делом были доклады, которые он писал для секретарей ЦК. Кроме того, он сочинял пьесы про колхозную деревню, либрет-

то к операм о сталинских соколах, мемуары за маршалов, создавал фольклор для малых народов, не имевших письменности. Яков Аронович созидал советский мир, да что там, он был воплощением этого мира со всеми его ста народами, а потом устал и уехал в Израиль.

— Сейчас у него домик в Ришон-ле-Ционе и неплохая пенсия, — сказала Лотта. — А сто советских народов разошлись по ста путям...

Лотта всегда слишком много читала, пытаясь успеть за новинками, но у нее не было ни сильного ума, ни разносторонней культуры, чтобы скрыть отсутствие вкуса и чутья, и подчас она не могла отличить оригинального графомана от подлинного художника. Она знала, что Достоевский православный писатель, но никогда не задумывалась, почему он еще и вызов православию.

— Игруеш, ты слишком многого хочешь от писателей, от литературы, — сказала как-то она. — Да и к себе предъявляешь такие требования, которые заставляют подозревать, что ты не совсем человек. Ты так долго вглядываешься в реальность, что твоему читателю начинает казаться, будто ты эту реальность деформируешь. Это трудно выдержать, а значит, у тебя никогда не будет так называемого широкого читателя. Поэтому то, что ты пишешь... как ты это называешь?

— *Posthumous writings*, — сказал я. — Посмертные письма.

— Ну да. По-твоему, если избран, значит, проклят. И этот избыток веры в себя, в свое призвание — он превращает тебя в существо жестокое и безответственное. Безответственное в житейском смысле, конечно.

И в этом же смысле ты безрассуден, на тебя нельзя положиться, поскольку ты страдаешь онкологическим эгоизмом... ты слишком свободен от всего и всех... как ты это называешь?

— *Libertas defunctorum*, — сказал я. — Свобода мертвых.

— Ну да. Отпущенного тебе тепла если на что и хватит, то только на книги, и если придется выбирать между мною и текстом, ты ведь всегда выберешь текст. Боюсь, ты никогда не научишься отбрасывать тень...

Расходились мы и в оценках прежней жизни: Лотта с нежностью вспоминала московскую советскую власть — богатую, мягкую и умную, а та провинциальная советская власть, которую знал я, была бедной, грубой и прямолинейной, хотя и не такой людоедской, как столичная.

Когда дочь Лотты попала в автокатастрофу и оказалась в инвалидном кресле, наши отношения резко изменились. К удивлению всех, кто ее знал, Лотта превратилась в самоотверженную мать и бабушку, и в этой жизни — мы оба это понимали — для меня места не было.

Осталась Жуся — она отличалась от Лотты, как вообще может отличаться *Wooman Home Edition* от *Wooman Professional Edition*.

Лотта ничего не знала о Жусе, и наоборот. И обе не знали о других моих женщинах. А я не интересовался мужчинами, без которых Лотта не могла прожить и дня, а Жуся, может, и хотела бы, да то и дело о них «спотыкалася». Она не могла устоять перед черногла-